

Александр Куприн

На покое



Александр Куприн

На покое

«Public Domain»

1902

Куприн А. И.

На покое / А. И. Куприн — «Public Domain», 1902

«Когда единственный сын купца 1-й гильдии Нила Овсянникова, после долгих беспутных скитаний из труппы в труппу, умер от чахотки и пьянства в наровчатской городской больнице, то отец, не только отказывавший сыну при его жизни в помощи, но даже грозивший ему торжественным проклятием при открытых царских вратах, основал в годовщину его смерти „Убежище для престарелых немощных артистов имени Алексея Ниловича Овсянникова“...»

© Куприн А. И., 1902

© Public Domain, 1902

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Александр Иванович Куприн

На покое

I

Когда единственный сын купца 1-й гильдии Нила Овсянникова, после долгих беспутных скитаний из труппы в труппу, умер от чахотки и пьянства в наровчатской городской больнице, то отец, не только отказывавший сыну при его жизни в помощи, но даже грозивший ему торжественным проклятием при отверстых царских воротах, основал в годовщину его смерти «Убежище для престарелых немощных артистов имени Алексея Ниловича Овсянникова». Оттого ли, что учреждение это находилось в глухом губернском городе, или по другим причинам, но жильцов в нем всегда бывало мало. Убежище помещалось в опустевшем барском особняке, все комнаты которого давным-давно пришли в ветхость, за исключением громадной залы с паркетным полом, венецианскими окнами и белыми, крашенными известкой, кривыми от времени колоннами. В этой зале и ютились осенью 1899 года пятеро старых, бездомных актеров, загнанных сюда нуждой и болезнями.

Посредине залы стоял овальный обеденный стол, обтянутый желтой, под мрамор, кленкой, а у стен между колоннами размещались кровати, и около каждой по шкафчику, совершенно так же, как это заведено в больницах и пансионах. Венецианских окон никогда не отворяли из боязни сквозняка, от этого в комнате прочно установился запах нечистоплотной, холостой старости – запах застоявшегося табачного дыма, грязного белья и больницы. Вверху, между стенами и потолком, всегда висела серая, пыльная бахрама прошлогодней паутины.

Лучшим местом считался угол около большой голландской печи, старинные изразцы которой были разрисованы синими тюльпанами. Здесь зимой бывало очень тепло, а широкая печь, отгораживая с одной стороны кровать, придавала ей до некоторой степени вид отдельного жилья. В этом привилегированном месте устроился самый давний обитатель овсянниковского дома, бывший опереточный тенор Лидин-Байдаров, слабоумный, тупой и необыкновенно спесивый мужчина, с трудом носивший на тонких, изуродованных подагрой ногах свое грузное и немощное тело. Попав в убежище с самого дня его основания, он держал себя в нем хозяином и первый дал тон скверным анекдотам и циничным ругательствам, никогда не прекращавшимся в общих разговорах. Он же покрывал белые колонны залы и стенки уборной теми гнусными рисунками и омерзительными изречениями в стихах и прозе, на которые было неистощимо его болезненное воображение тайного эротомана.

По другую сторону печи, ближе к окнам, помещался бывший суфлер Иван Степанович – плешивый, беззубый, сморщенный старикашка. В былые времена весь театральный мир звал его фамильярно «Стаканычем»; это прозвище сохранилось за ним и в убежище. Стаканыч был человек кроткий, набожный, сильно глуховатый на оба уха и, как все глухие, застенчивый. Ежедневно, по нескольку раз, Лидин-Байдаров развлекался тем, что, сохраняя на лице озабоченное выражение, говорил старому суфлеру издали всякие сальности, на что Стаканыч улыбался ласковой смущенной улыбкой, торопливо кивал головой и отвечал невпопад, к великому удовольствию бывшего опереточного премьера, которому эта шутка никогда не надоедала.

С утра до вечера Стаканыч мастерил из разноцветных бумажек, тонкой проволоки и бисера какие-то удивительно хитрые коробочки. Раз или два в год он отсылал их партиями своему сыну Васе, служившему где-то в уездном театре, «на выходах». Если же он не клеил коробочек, то раскладывал на своей кровати пасьянсы, которых знал чрезвычайно много.

По ту же сторону, но совсем у окон, обитал старый трагик Славянов-Райский. Изю всех пятерых он один пользовался некогда широкой и шумной известностью. В продолжение семи

лет его имя, напечатанное в афишах аршинными буквами, гремело по всем провинциальным городам России. Но через год после его угарного заката публика и печать сразу и совершенно позабыли о нем. За кулисами, впрочем, старые актеры долго еще вспоминали о небывалых и безумных успехах его гастролей, о бешеных деньгах, которые он разбрасывал в своих легендарных кутежах, и о скандалах и драках, которые он устраивал в каждом городе.

С товарищами по общежитию Славянов-Райский держался надменно и был презрительно неразговорчив. По целым дням он лежал на кровати, молчал и без перерыва курил огромные самодельные папиросы. Иногда же, внезапно вскочив, он принимался ходить взад и вперед по зале, от окон к дверям и обратно, мелкими и быстрыми шагами. И во время этой лихорадочной беготни он делал руками перед лицом короткие негодующие движения и отрывисто бормотал непонятные фразы...

Напротив стояла кровать «Дедушки», которого, так же как и Стаканыча, весь актерский мир знал больше по этому прозвищу, чем по фамилии. Уже целых три месяца Дедушка не вставал с постели и, обросший белыми мягкими длинными волосами, лежал иссохший и благообразный, напоминая в своей белой рубашке иконописное изображение отходящего угодника. Он говорил мало, с передышками, глухим и тонким старческим голосом и с таким трудом, как будто бы стонал на каждом слове. У него болела грудь, но кашлять по-настоящему ему было трудно, и он только кряхтел слабо и жалобно. Дедушка был очень стар, вероятно, старше всех современных русских актеров. В прежнее же время он был известен во многих труппах как хороший актер на ампула резонеров и дельный, грамотный режиссер.

Пятым и последним обитателем убежища был комический актер Михаленко – раздутый водянкой, задыхающийся от астмы циник. Хрипя, еле переводя дыхание, с трудом выжимая из своей оплывшей груди слова, он, едва проснувшись, принимался браниться с кем-нибудь из соседей и прекращал это занятие, только ложась вечером в постель. Язык у него был острый, злой и беспощадно, по-актерски, грубый. В нем вечно кипела завистливая, истерическая злоба, заставлявшая его интриговать, сплетничать и писать на своих товарищей нелепые анонимные доносы попечителям убежища. В сквернословии Михаленко состязался с Лидиным-Байдаровым, уступая опереточному тенору в изумительной способности изобретать и сплестать между собою самые невероятные гнусности, но превосходя его злой и меткой язвительностью. Живая память сохранила ему неиссякаемый запас мерзостей закулисной жизни: любовных связей, скандалов, драк, неудач и преступлений. Ссорясь с соседями, он умел извлекать из их театрального прошлого наиболее постыдные, наиболее чувствительные страницы и так разрисовывал их своим беззастенчивым юмором, что за ним всегда оставалось последнее слово. Один глаз у него был вставной – тусклый, маленький и слезливый, зато здоровый огромным голубым шаром вылезал из своей орбиты и всегда носил разгневанное выражение.

Жизнь в убежище текла однообразно и скучно. Просыпались актеры очень рано, зимою задолго до света и тотчас же, в ожидании чая, еще не умывшись, принимались курить. Со сна все чувствовали себя злыми и обессиленными и кашляли утренним старческим, давящимся кашлем. И так как в этой убогой жизни неизменно повторялись не только дни, но и слова и жесты, то всякий заранее ждал, что Михаленко, задыхаясь и откашливаясь, непременно скажет старую остроту:

– Вот это настоящий акцизный кашель!..

А Дедушка, знавший когда-то иностранные языки и до сих пор не упускавший случая хвастнуть этим, прибавлял своим стонущим фальцетом:

– Bierhusten. Это у немцев называется Bierhusten. Пивной кашель...

Потом служивший при убежище отставной николаевский солдат Тихон приносил кипяток и неизменные сайки. Актеры заваривали чайники и уносили их к своим столикам. Пили чай очень долго и помногу, пили с кряхтеньем и вздохами, но молча. После чая рассказывали сны и толковали их: видеть реку означало близкую дорогу, вши и грязь предвещали неужи-

данные деньги, мертвец – дурную погоду. Сновидения Лидина-Байдарова всегда заключали в себе какую-нибудь сладострастную пакость. Затем шло на целый день лежанье на грязных включенных постелях с неприбранными, засаленными одеялами. От скуки и безделья курили страшно много. Иногда посылали Тихона за газетой, но читали ее только двое: Михаленко, ревниво следивший до сих пор за именами бывших товарищей по сцене, и Стаканыч, которого больше всего интересовали описания грабежей, столкновений поездов и военных парадов. Дедушка плохо видел и потому просил изредка почитать себе вслух. Но из этого мало выходило толку: беззубый суфлер шепелявил, брызгал слюной, и у него нельзя было разобрать ни слова, а Михаленко, читая, приделывал к каждой фразе такие непристойные окончания, что Дедушка в конце концов махал рукою и говорил сердито:

– Ну, пошел врать, дурак. Эка мелет мелево!.. Уходи, не хочу слушать.

Разговаривали редко, но подолгу, и всегда кончали ссорой и уличали друг друга в лганье. В большом ходу были анекдоты, причем у каждого обозначалась своя область... Стаканыч, который происходил из духовного звания, умел рассказывать про семинаристов, попов и архиереев; Михаленко был неистощим в закулисных историях и помнил наизусть бесчисленное множество неприличных стихотворных эпиграмм, приписываемых Ленскому, Милославскому, Каратыгину и другим актерам; Байдаров говорил протivoестественные и совершенно нелепые гадости о женщинах. Впрочем, на последнюю тему все они, не исключая набожного Стаканыча и не встававшего с постели Дедушки, любили поговорить, и их собственное бессилие, их физическая и душевная немощь придавали этим разговорам уродливый и страшный характер. Ни разу, хотя бы случайно, ни один из них не помянул приличным словом женщину, как мать, жену или сестру; женщина была в их представлении исключительно самкой, – красивым, лукавым и безобразно-похотливым животным.

Иногда актеры вспоминали и свои собственные театральные приключения. Михаленко называл это «кислыми рассказами из прежней жизни», и сами не замечая, они передавали один и тот же эпизод по нескольку раз, в одних и тех же выражениях, с одинаковыми жестами и интонациями; даже цеплялись у них анекдоты и кислые рассказы один за другой все в том же порядке, по одним и тем же ассоциациям мыслей. От этого часто случалось, что, проговорив час или два подряд, актеры вдруг ощущали вместе с усталостью и скукой чувство нестерпимого отвращения к самим себе и к своим сожителям.

Для них не было ничего святого. Все они, не переставая, богохульствовали, и даже полумертвый Дедушка любил рассказывать очень длинный и запутанный анекдот, где Авраам и три странника у дуба Мамврийского играли в карты и совершали разные неприличные вещи. Но по ночам, во время тоскливой старческой бессонницы, когда так назойливо лезли в голову мысли о бестолково прожитой жизни, о собственном немощном одиночестве, о близкой смерти, – актеры горячо и трусливо веровали в бога, и в ангелов-хранителей, и в святых чудотворцев, и крестились тайком под одеялом, и шептали дикие, импровизированные молитвы. Утром вместе с ночными страхами проходила и вера. Один только Стаканыч был сдержаннее и последовательнее других. Он даже пробовал кое-когда, вставши с постели, торопливо, украдкой, креститься на образ, но каждый раз ему мешал Михаленко, который, стоя за ним, шутовски кланялся, размахивал правой рукою, как будто в ней было кадило, и хриплым дьячковским басом вытягивал:

– Паки и паки, съели попа собаки, если бы не дьячки, разорвали бы в клочки...

В два часа актеры обедали и за обедом неизменно ругали непечатной бранью основателя убежища купца 1-й гильдии Овсянникова. Прислуживал им все тот же солдат Тихон; его огорчало, что господа говорят за столом гадости, и иногда он пробовал остановить Михаленку, который был на язык невоздержаннее прочих:

– Не выражались бы вы, господин Михаленко. Кажется, образованный человек, а такие последние слова за хлебом-солью... Совсем даже некрасиво.

После обеда актеры спали тяжелым, нездоровым сном, с храпением и стонами, спали очень долго, часа по четыре, и просыпались только к вечернему чаю, с налитыми кровью глазами, со скверным вкусом во рту, с шумом в ушах и с вялым телом. Во время сна они отлеживали себе руки, ноги и даже головы и, вставши с кровати, шатались, как пьяные, и долго не могли сообразить, утро теперь или вечер. После чая опять лежали, курили и рассказывали анекдоты. Часто играли в карты, – в пикет и в шестьдесят шесть, – и непременно на деньги, а проигрыш приписывали к старым карточным долгам, которые иногда достигали десятков тысяч рублей. Удивительнее всего было то, что все они не переставали верить в свое будущее: пройдет сама собою болезнь, подвернется ангажемент, найдутся старые товарищи, и опять начнется веселая, прятная актерская жизнь. Поэтому-то они и хранили, как святыню, в глубине своих спальных шкафчиков старые афиши и газетные вырезки, на которых стояли их имена.

В восемь часов подавали ужин, состоявший из разогретых остатков от обеда. Тотчас же после ужина актеры раздевались и укладывались спать. Но засыпали не скоро. Долго все пятеро ворочались на своих кроватях, и это было самое мучительное время суток. Сильнее давали о себе знать старые, запущенные болезни, нельзя было отогнать печальных и ядовитых мыслей о прошлом, оскорбительнее чувствовалось убожество настоящей жизни. Но страшнее всего было думать о том, что, быть может, один из соседей тихо, незаметно ни для кого, уже умер среди этой ночи и будет лежать до самого утра, молчаливый, таинственный, ужасный. И актеры по несколько раз в ночь окликали друг друга, спрашивая дрожащими и кроткими голосами, который час, или прося одолжить спичку. И долго, долго, до раннего света, слышались в большой комнате, вместе с треском рассыхающегося паркета, старческие вздохи, невнятный бред, глухое покашливание и торопливый шепот...

И так тянулось изо дня в день серое, мелочное существование этих людей, когда-то жадно объедавшихся жизнью. Приятно разнообразилось оно хождением в город, но это удовольствие было сравнительно очень редким, потому что деньги почти никогда не водились в убежище, а без денег не стоило и выходить за ворота. Без денег нельзя было ни купить табаку, ни прокатиться на извозчике, ни зайти к дешевой раскрашенной проститутке, ни посидеть часок-другой в излюбленном ресторане, который более всего притягивает к себе бродяжнические вкусы старых актеров.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.